

ОТ АВТОРА

Написав историю о своей жизни в гетто и подполье, Янина выразила благодарность мне – ее мужу – за то, что я два года мирился с ее затянувшимся отсутствием, ибо пока она писала, она принадлежала тому миру, который «не был его миром», то есть, моим. Это верно. Я пытался спасти себя от того мира ужаса и бесчеловечности, достигшего самых отдаленных уголков Европы. И, как и многие мои современники, я никогда не делал попыток его исследовать после того, как он исчез с лица земли, оставшись, однако, глубоко в памяти и незаживающих шрамах тех, кого он ранил или лишил надежды.

Конечно, я знал о холокосте. И мое представление о нем было таким же, как и у многих людей моего возраста и младшего поколения: чудовищное преступление, когда злодеи ополчились против невинных, и мир разделился на безумных убийц и беспомощных жертв. Многие по возможности пытались помочь жертвам, но в большинстве случаев ничем помочь не могли. Убийцы убивали потому, что были безумны, озлоблены и одержимы отвратительной бесчеловечной идеей. Жертвы брели на бойню, ибо ничего не могли противопоставить сильному и хорошо вооруженному врагу. Остальному миру оставалось только в отчаянии наблюдать: было понятно, что только окончательная победа союзников по антифашистской коалиции положит конец страданиям людей. Зная и понимая это, я все равно видел холокост как некую картину на стене: аккуратно вставленную в раму, чтобы полотно выделялось на фоне обоев и подчеркивало, насколько оно отличается от остальных предметов домашнего обихода.

Прочитав книгу Янины, я задумался: как мало я знал, и насколько неверным было мое представление о том, о чем, каза-

лось, я знаю! Я осознал, что действительно не понимал того, что происходило в «том мире, который не был моим». Ибо произошедшее там нельзя объяснить тем простым и доступным образом, который я по своей наивности считал достаточным. Я понял, что холокост не просто зловец и ужасен. Это событие абсолютно непостижимо в привычных «нормальных» понятиях. Оно зашифровано особым образом, и чтобы понять его, требуется взломать шифр.

Я подумал, что специалисты по истории, социологии и психологии могли бы помочь мне в этом. Я рыскал по библиотечным полкам, на которые прежде никогда не заглядывал, тесно заставленным подробнейшими историческими исследованиями и солидными теологическими трактатами. Я нашел там и несколько превосходных социологических исследований, написанных точно и остро. Свидетельства, собранные историками, поражали объемом и содержанием, глубоким и убедительным анализом. Знакомство с ними развеяло все сомнения в том, что холокост – не картина на стене, а скорее окно в мир. Когда смотришь в это окно, видишь отблеск многих вещей, которых прежде не замечал. И самые важные из них касаются не только преступников, их жертв и свидетелей преступления, а тех, кто живет сегодня и надеется жить завтра. То, что я увидел, не доставило мне никакого удовольствия. Но чем более угнетающим делалось зрелище, тем более я укреплялся во мнении, что не смотреть в это окно означало бы подвергнуться большой опасности.

То, что я не заглядывал в это окно прежде, не отличало меня от моих коллег-социологов. Как и большинство из них, я допускал, что холокост, в лучшем случае, это нечто, в чем должны просвещать нас социальные науки, но он определенно не имеет никакого отношения к нашим текущим заботам. Я полагал (скорее по умолчанию, а не по зрелому размышлению), что холокост – это разрыв в нормальном течении истории, раковое образование на теле цивилизованного общества, кратковременное безумие на фоне общего здоровья. Имея такие взгляды, я легко мог описывать моим ученикам картину нормального, здорового общества, оставляя историю о холокосте профессиональным исследователям патологий.

Мое самодовольство и самодовольство моих коллег-социологов (которое нельзя оправдать) в значительной степени определяется теми способами, какими происходили присвоение и эксплуатация памяти о холокосте. В общественном сознании холокост слишком часто представляется трагедией, которая произошла с евреями, и только с евреями, – поэтому всех прочих призывают к сочувствию, состраданию, быть может, к по-

каению, но не более того. Снова и снова евреи и неевреи рассказывают о холокосте как коллективной (и исключительной) собственности евреев, как о чем-то, что остается в ведении тех или ревниво охраняется теми, кто избежал расстрелов и газовых камер, – а также потомками тех, кто не миновал этой участи. В результате обе точки зрения – «взгляд извне» и «взгляд изнутри» – дополняют друг друга. Некоторые из тех, кто присвоил себе право говорить от имени мертвых, доходят до того, что говорят о «краже» холокоста у евреев, о «христианизации» холокоста, о растворении его уникального еврейского характера в обезличенном «гуманизме». Еврейское государство не раз пыталось использовать трагическую память как сертификат своей политической законности, индульгенцию своей прошлой и будущей политики и, помимо всего прочего, как аванс будущей несправедливости, которую может учинить государство. Так каждый в собственных целях укреплял в общественном сознании представление о холокосте как об исключительно еврейском деле, не имеющем почти никакого значения для всех тех (включая сюда и евреев как обычных людей), кто обязан жить в нынешнее время и быть членом современного общества. Насколько рискованно значение холокоста было низведено до уровня частной трагедии и горя одной нации, я понял лишь недавно, и к такому заключению меня подтолкнул один мой вдумчивый и просвещенный приятель. Я пожаловался ему, что так и не сумел найти в социологии свидетельств о важности и всеобщей значимости тех уроков, которые были вынесены из опыта холокоста. «Неудивительно, – заметил мой приятель, – учитывая, сколько евреев подвизаются в социологии».

Речи о холокосте звучат главным образом для самих евреев, когда отмечаются памятные даты, и он преподносится как событие из жизни еврейских общин. Университетами были организованы специальные курсы лекций по истории холокоста, которые читались в отрыве от лекций по общей истории. Многие определяют холокост как специальную тему по еврейской истории. Этой темой занимаются специалисты – профессионалы, регулярно встречающиеся на особых конференциях и симпозиумах. Однако их серьезные работы, производящие столь сильное впечатление, редко вливаются в общий поток учебных курсов и не просачиваются в культурную жизнь всего общества – подобно большинству других специальных тем в нашем мире специалистов и специализаций.

Когда такие работы все же становятся достоянием общественности, публика получает их в сильно отредактированном виде. Трагедия приобретает благостную и удобоваримую форму. Находясь на одной волне с устоявшейся мифологией, холо-

кост может легко заставить публику сопереживать настоящей человеческой трагедии, но он вряд ли поколеблет ее самоуспокоенность. Как не поколебала ее американская «мыльная опера» под названием «Холокост», в которой упитанные и отменно воспитанные доктора и их семьи (в точности как ваши соседи по Бруклину), гордые и несломленные, с высоко поднятыми головами шествуют в газовые камеры под присмотром нацистских дегенератов и неотесанных, жаждущих крови славянских крестьян. Давид Дж. Роскис, глубокий и вдумчивый исследователь еврейской реакции на Апокалипсис, отметил, как работает безмолвная и беспощадная машина самоцензуры, когда «головы, склоненные к земле» (строчка из поэзии гетто) в более поздней редакции либретто оказываются заменены на «головы, гордо поднятые и исполненные веры». «Чем больше вымарывается мрачное, – заключает Роскис, – тем сильнее холокост как архетип приобретает свое особое очертание. Погибшие евреи все были праведниками, нацисты и их пособники – абсолютным злом»¹. Когда Ханна Арендт осмелилась заметить, что жертвы бесчеловечного режима, должно быть, по пути на эшафот тоже растеряли свои человеческие качества, ее едва не прокляли.

Холокост действительно был *еврейской трагедией*. Хотя не одни лишь евреи оказались объектами «особой обработки» нацистского режима (6 миллионов евреев были среди более чем 20 миллионов других людей, уничтоженных по приказу Гитлера) – но одни лишь евреи оказались избраны для полного уничтожения: при «новом порядке», который намеревался установить Гитлер, им места не оставалось. Даже учитывая это, холокост был не просто *еврейской проблемой* и не просто одним из событий одной лишь *еврейской истории*. *Холокост возник и случился в нашем современном обществе, на высшей стадии нашей цивилизации, на пике культурных достижений человечества, и по этой причине это проблема общества, цивилизации и культуры*. Самозаживление исторической памяти, которое происходит в сознании современного общества, по этой самой причине гораздо больше, чем просто оскорбление жертв геноцида. Это еще и знак опасной и самоубийственной слепоты.

Процесс самозаживления, однако, не обязательно означает, что холокост исчезает из памяти. Есть множество признаков, свидетельствующих об обратном. Не считая немногих ревизионистов, отрицающих сам факт этого события (что, пусть и непреднамеренно, только добавляет к холокосту общественного интереса благодаря сенсационным заголовкам, которые провоцируют ревизионисты), чудовищность холокоста и то воздействие, которое он оказал на своих жертв (в особенности на тех,

кто его пережил), начинает все больше привлекать общественное внимание. Темы такого рода становятся почти обязательными – хотя и не всегда ведущими – в качестве сюжетных ходов в кино, романах и телефильмах. И тем не менее, практически нет сомнений в том, что самооживление действительно происходит – за счет двух взаимосвязанных процессов.

Один процесс – это переход истории холокоста в статус особой индустрии, располагающей своими научными институтами, фондами и устраивающей постоянные конференции. Нередкий и хорошо известный эффект разветвления научных дисциплин заключается в том, что новая ветвь специализации, срастаясь с основной, становится малозаметной; выводы и открытия специалистов новой ветви почти не оказывают влияния на главное направление исследований, рано или поздно они переплетаются друг с другом, образуя особый язык и систему образов. Довольно часто такое разветвление означает, что научные интересы, делегированные специальным институтам, пропадают из ядра главной научной дисциплины; они, так сказать, становятся более партикулярными и маргинальными, лишеными практического, если не всегда теоретического, значения; таким образом научный мейнстрим избавляет себя от дальнейшей заботы о них. И мы видим, что в то время, когда объем, глубина и научное качество работ, посвященных холокосту, постоянно возрастают, уровень внимания к нему в рамках изучения общей современной истории не меняется; сейчас становится все легче не заниматься серьезным анализом холокоста, предоставив в свое оправдание длинный список уважаемых научных работ на эту тему.

Другой процесс – это уже отмеченная стерилизация образа холокоста в массовом сознании. Информация о холокосте слишком часто ассоциировалась с мемориальными церемониями и торжественными проповедями, которые эти церемонии предполагают. События такого рода, сколь важными они ни были бы, оставляют мало места для глубокого анализа опыта холокоста, и в особенности – для анализа его наиболее уродливых и тревожных аспектов. Общественное сознание продолжает обслуживать неспециалисты и доступные всем СМИ.

Когда публику призывают задуматься над самыми серьезными вопросами – «Как подобный кошмар стал возможным? Как такое могло случиться в сердце самой цивилизованной части света?», – эти вопросы, как правило, не тревожат сознание и разум. Бесконечные разговоры о вине выдаются за анализ причин; нам говорят, что корни кошмара необходимо искать – и мы находим их там – в одержимости Гитлера, в подбострастии его приспешников, в жестокости его последователей и мо-

ральной коррупции, возвращенной на его идеях; возможно, если мы копнем чуть глубже, говорят нам, корни найдутся в необычных поворотах немецкой истории, в частности, в моральном безразличии обычных немцев – в поведении, которое объяснимо только с точки зрения характерного для них откровенного или скрытого антисемитизма. Затем в большинстве случаев за призывом «попытаться понять, как такое могло случиться», следует долгий перечень разоблачений, касающихся одиозного государства под названием Третий рейх, дьявольской сути нацизма и других аспектов «германского заболевания», которые, как мы понимаем и как нас пытаются заставить понять, указывают на нечто, что «противоречит здравому смыслу нашей планеты»². Также нам говорят, что, как только мы по-настоящему поймем зверства нацизма и их причины, «можно будет если не излечить, то по крайней мере прижечь рану, которую оставил нацизм на теле западной цивилизации»³. Одна из возможных интерпретаций (не обязательно подразумеваемых авторами этих исследований) подобных взглядов заключается в том, что, поскольку моральная и материальная ответственность возлагается на Германию, немцев и нацистов, поиски первопричин трагедии можно считать завершенными. И сам холокост, и его причины заключены внутри ограниченного пространства и (теперь уже, к счастью, прошедшего) времени.

Очевидно, что сосредоточенность на «немецкости» преступления как на той его стороне, где должно находиться объяснение этому преступлению, – это одновременно способ оправдания всех остальных, и в частности *всего остального*. Мысль о том, что преступники, повинные в холокосте, были своего рода язвой или болезнью цивилизации – а не ее ужасающим и, тем не менее, законным порождением, – ведет не только к морально комфортному самооправданию, но и к страшной угрозе морального и политического разоружения. Все это случилось «там» – в другое время и в другой стране. Чем больше «виноваты они», тем в большей безопасности «мы» – остальные, тем меньше нам приходится защищать свою безопасность. Когда распределение вины приравнивается к выяснению причин, чистота и здравомыслие образа жизни, которым мы так гордимся, не вызывают никаких сомнений.

В конечном итоге, как это ни парадоксально, память о холокосте ослабевает. То послание, которое несет в себе холокост о нашем сегодняшнем образе жизни – о качестве институтов, на которые мы полагаемся ради своей безопасности, о надежности критериев, по которым мы судим о правомерности нашего поведения и о поступках, воспринимаемых нами как нормальные, – замалчивается, к нему не прислушиваются, оно не дохо-

дит по назначению. О нем спорят специалисты, о нем продолжают говорить на конференциях, но нигде больше о нем не услышишь, оно остается загадкой для посторонних. Холокост еще не вошел (всерьез, во всяком случае) в современное сознание. Но гораздо хуже то, что он так и не оказал влияния на современную практику.

Данное исследование замысливалось как небольшой и скромный вклад в то, что в сложившихся условиях представляется давно назревшей задачей громадной культурной и политической важности; задачей по переводу социологических, психологических и политических уроков холокоста в самосознание и институциональную практику современного общества. Эта работа не предлагает нового описания истории холокоста; в этом отношении она полностью основывается на поразительных достижениях недавних специальных исследований, которые я всеми силами старался привлекать и которым я безгранично обязан. В большей степени данное исследование имеет отношение к пересмотру различных и достаточно важных областей социальных наук (и, возможно, социальных практик), который оказался необходимым с точки зрения процессов, тенденций и скрытого потенциала, обнаруживших себя в ходе холокоста. *Цель данного исследования состоит не в том, чтобы преумножить специальное знание и удобрить почву для некоторых маргинальных занятий, которыми увлечены специалисты в области социальных наук, но в том, чтобы сделать работы специалистов полезными для социальной науки, чтобы продемонстрировать их релевантность главным темам социологического исследования, чтобы установить обратную связь между ними и основным направлением нашей науки и таким образом лишить их сегодняшнего маргинального статуса и открыть для них центральную область социальной теории и социологической практики.*

Глава I представляет собой общий обзор социологических откликов (или скорее ничтожно малого количества таких откликов) на некоторые теоретически значимые и практически животрепещущие проблемы, поднятые в исследованиях холокоста. Некоторые из этих проблем будут проанализированы отдельно и более подробно в последующих главах. Во II и III главах исследуются напряженные состояния, вызванные пограничными тенденциями в новых условиях модернизации, распадом традиционного порядка, укреплением современных национальных государств, связями между некоторыми атрибутами современной цивилизации (роль, которую играет научная риторика в легитимации социально-инженерных амбиций, здесь особенно примечательна), возникновением расистской

формы коллективного антагонизма, сближением расизма и геноцида. Предложив считать холокост характерным явлением современности, которое невозможно понять вне контекста культурных тенденций и технических достижений, в главе IV я пытался осмыслить проблему поистине диалектического сочетания уникальности и заурядности применительно к тому положению, которое холокост занимает среди других современных явлений; я пришел к выводу, что холокост стал итогом уникального столкновения факторов, которые сами по себе были совершенно банальными и обычными; и что вину за такое столкновение в значительной степени следует возложить на освободившееся от общественного контроля политическое государство с его монополией на средства насилия и его дерзкой инженерией, завершивших демонтаж всех неполитических ресурсов власти и институтов общественного самоуправления.

В главе V предпринимается неблагоприятная и трудоемкая попытка проанализировать одну из тех сторон нашей жизни, о которых мы «предпочитаем не говорить»⁴; речь пойдет о современных механизмах, которые допускают сотрудничество жертв в период их виктимизации с теми, кто, вопреки восхваляемым облагораживающим и воспитательным эффектам цивилизационного процесса, способствует дегуманизирующему распространению принудительной власти. Одно из таких «современных подключений» холокоста, его тесная связь с моделью власти, доведенной до совершенства современной бюрократией, является предметом главы VI, представляющей собой развернутый комментарий к социально-психологическим экспериментам, проведенным Милгрэмом и Зимбардо. В главе VII, выступающей в качестве теоретического синтеза и заключения, рассматривается вопрос о том, какое место занимает тема морали в главенствующих направлениях социальной теории, и выдвигается аргумент в пользу его радикального пересмотра, который потребовал бы большего внимания к открывшимся возможностям манипулирования социальной (физической и духовной) дистанцией.

Несмотря на многообразие тем, я надеюсь, что все главы указывают на одно и то же направление и работают на единый замысел. *Все они являются аргументами в пользу того, чтобы уроки холокоста были усвоены основным течением нашей теории современности (modernity), а также теорией цивилизационного процесса и его последствий.* Все они происходят из убеждения, что опыт холокоста содержит ключевую информацию об обществе, членами которого мы являемся.

Холокост был уникальным столкновением старых противоречий, которые современность не замечала, презирала или не могла разрешить, с мощными инструментами рационального и

I ОТ АВТОРА

эффективного действия, вызванными к жизни самим современным развитием. Даже если это столкновение было уникальным и потребовало редкой комбинации обстоятельств, факторы, которые сошлись вместе, чтобы оно состоялось, были и продолжают оставаться обычными и «нормальными». После холокоста страшный потенциал этих факторов почти не исследовался. Еще меньше было сделано для того, чтобы парализовать их потенциально чудовищные последствия. Я убежден, что и в том и в другом отношении можно и нужно сделать намного больше.

Работая над этой книгой, я получал полезные, иногда критические советы, за которые я очень благодарен Брайану Чейтту, Шмуэлю Эйзенштадту, Ференцу Фехеру, Агнесс Хеллер, Лукашу Гиршовичу и Виктору Заславскому. Надеюсь, что на этих страницах они обнаружат больше, чем просто случайные следы влияния их идей на меня. Я особо благодарю Энтони Гидденса за внимательное чтение этой книги в процессе ее создания, за его вдумчивые, критические и очень ценные советы. Моя благодарность – Дэвиду Робертсу за его редакторский труд и терпение.

Глава 1 |

Социология после холокоста

*«Теперь в материальные
и духовные ценности цивилизации включены
лагеря смерти и мусульманство».*

Ричард Рубинштейн и Джон Рот
«На пути в Освенцим»

Для социологии как теории цивилизации, современности и современной цивилизации существуют два способа преуменьшить, недооценить или сбросить со счетов значение холокоста.

Первый способ – это представить холокост как нечто, что случилось с евреями, как событие в *еврейской* истории. Это делает холокост уникальным, удобно нехарактерным и как бы неуместным для социологического анализа. Самый распространенный пример – представление холокоста как кульминационной точки европейско-христианского антисемитизма. В огромном перечне этнических и религиозных предрассудков и оскорблений это явление не с чем будет сопоставить. Среди других примеров коллективного антагонизма антисемитизм стоит обособленно в силу его беспрецедентной систематичности, идеологической напряженности, наднационального и надтерриториального распространения, в силу сложного взаимопроникновения и взаимодействия подпитывающих его локальных и мировых источников. В той мере, в какой он определяется как, условно говоря, продолжение антисемитизма другими средствами, холокост предстает «штучным товаром», единичным эпизодом, который в состоянии, быть может, пролить некоторый свет на *патологию* общества, где он имел место, однако вряд ли способен добавить какие-то детали к пониманию

нормального состояния этого общества. Еще меньше он призывает к сколько-нибудь значительному переосмыслению традиционного понимания исторической тенденции современности, процесса цивилизации, основополагающих тем социологического исследования.

Другой способ – на первый взгляд, он ведет нас в противоположном направлении, но в действительности приводит к тому же результату – представить холокост как экстремальный случай распространенного и привычного для нас социального явления; это явление, безусловно, отвратительное и мерзкое, но, увы, с ним мы можем (и должны) уживаться. Мы должны, потому что это явление устойчиво и повсеместно распространено, но главным образом потому, что современное общество было, есть и будет организацией, созданной, чтобы вновь и вновь сталкиваться с этим явлением и, возможно, в конце концов полностью его искоренить. Понятно, что в данном случае холокост классифицируется как всего лишь один случай (правда, весьма примечательный) в ряду других «подобных» конфликтов, предрассудков или проявлений агрессии. При худшем сценарии холокост объясняют первобытной, перманентно присутствующей в разных культурах «естественной» предрасположенностью человека. У Лоренца эта предрасположенность названа инстинктивной агрессией, у Артура Кёстлера – неспособностью коры головного мозга управлять древними центрами, вызывающими эмоции¹. Так, будучи досоциальными и невосприимчивыми к культурной манипуляции, факторы, ответственные за холокост, эффективно перемещаются за пределы области социологического интереса. В лучшем случае холокост относится к наиболее страшной и зловещей – хотя все еще теоретически приемлемой – категории геноцида; или же он просто растворяется в обширном и всем хорошо известном классе явлений этнического, культурного или расового угнетения и преследования².

Какой бы из этих двух способов мы ни взяли, эффект, по сути, будет одним и тем же. Холокост будет рассматриваться в русле хорошо известных исторических событий:

Когда холокост рассматривают таким образом в контексте других исторических ужасов (крестовых походов, резни альбигойцев, истребления армян турками и даже концентрационных лагерей, изобретенных британцами во время англо-бурской войны), становится слишком удобно объявить его «уникальным», но, в конечном итоге, нормальным явлением³.

Или же холокост сводят к истории гетто, которая насчитывает сотни лет, к узаконенной дискриминации, погромам и пресле-

дованиям евреев в христианской Европе – в этом случае он предстает «уникально ужасным», но тем не менее абсолютно логичным следствием этнической и религиозной ненависти. Так или иначе, но бомба обезвреживается; нашей социальной теории не требуется серьезного пересмотра; наше видение современности, ее скрытого, но хорошо известного всем потенциала, ее исторической тенденции более не нуждается в пристальном внимании, поскольку методы и концепции, имеющиеся у социологии, вполне годятся для «объяснения этого», для «придания этому смысла», а значит, и для его понимания. В результате возникает теоретическая самоуспокоенность. Ведь на самом деле ничего не произошло, чтобы можно было обосновать другой критический подход к модели современного общества, которая играет роль теоретической рамки и прагматического оправдания социологической практики.

До сих пор несогласие с этим благодушным и самодовольным отношением высказывали главным образом историки и теологи. Социологи уделили их высказываниям мало внимания. Если сопоставить грандиозную работу, проделанную историками, число работ христианских и иудейских теологов, с одной стороны, и вклад профессиональных социологов в исследование холокоста – с другой, то последний представляется ничтожным, и им можно легко пренебречь. До сих пор подобные социологические исследования демонстрировали со всей наглядностью, что *холокост может намного больше сказать о состоянии социологии, нежели социология в ее нынешнем виде может добавить к нашему знанию о холокосте*. Этот тревожный факт социологи пока не обнаружили (или не отреагировали на него).

Каким образом социология исследует событие под названием «холокост», очень точно сформулировал один из самых известных представителей профессии Эверетт Ч. Хьюз:

Национал-социалистическое правительство Германии выполнило «грязную работу» колоссального объема в истории евреев. Важнейшими проблемами в данном контексте являются следующие: (1) – что это за люди, которые выполняют такую работу? и (2) – каковы условия, при которых другие «добрые люди» позволяют им делать это? Мы должны лучше знать о том, как они добиваются власти, и о том, как не допустить их к власти⁴.

В лучших традициях социологической практики Хьюз определяет эту проблему как проблему выявления особого сочетания психосоциальных факторов, которые, по-видимому, могли бы быть связаны (в качестве определяющих) с особыми поведен-

ческими наклонностями, которые демонстрировали преступники, выполнявшие «грязную работу». Он также определяет другой набор факторов, которые уменьшают (ожидаемое, но отнюдь не неизбежное) сопротивление таким наклонностям со стороны других индивидов. В результате Хьюз получает некий объем объяснимого и предсказуемого знания, которое в нашем рационально организованном мире, управляемом законами причинности и статистической вероятностью, позволит его носителям препятствовать осуществлению «грязных» тенденций, проявлению их в актуальном поведении и производству вредоносных «грязных» эффектов. Последнюю задачу, по-видимому, можно решить за счет применения той же модели, которая сделала наш мир рационально организованным, легко поддающимся манипуляции и контролю. Что нам необходимо, так это лучшая технология для старой – и отнюдь не дискредитировавшей себя – социальной инженерии.

Среди других заметных социологических вкладов в исследование холокоста – работа Хелен Фейн⁵, которая добросовестно следовала советам Хьюза. Фейн поставила перед собой задачу сформулировать ряд психологических, идеологических и структурных переменных, наиболее точно соответствующих проценту погибших или выживших евреев в разных государственно-национальных образованиях покоренной нацистами Европы. Согласно всем традиционным стандартам, Фейн провела впечатляющее исследование. Она тщательно и точно проиндексировала особенности национальных образований, степень местного антисемитизма, уровни адаптации евреев к чужой культуре и их ассимиляции, следствия межнациональной солидарности, чтобы эти соотношения можно было легко ввести в компьютер и проверить. Некоторые гипотетические связи у нее показаны как несуществующие или по крайней мере как статистически незначимые; некоторые другие закономерности, напротив, получают статистическое подтверждение, как, например, корреляция между отсутствием солидарности и вероятностью того, что «люди освободились от моральных обязательств». Но именно в силу безупречных социологических навыков автора и той компетентности, с которой они были продемонстрированы, книга Фейн непреднамеренно обнаружила слабость классической социологии. Без пересмотра некоторых существенных и не проговоренных положений социологического дискурса нельзя сделать ничего, кроме того, что уже сделала Фейн; представьте себе холокост как уникальный и совершенно предопределенный продукт сцепления социальных и психологических факторов, приведший к приостановке законов цивилизации, которые обычно контролируют человеческое по-

ведение, – с этой точки зрения весь положительный урок, который можно извлечь из истории холокоста, сводится к гуманизирующему, или рационализирующему (эти понятия используются как синонимы), влиянию социальной организации на бесчеловечные побуждения, движущие поведением до- или антисоциальных индивидов. Какие бы моральные инстинкты ни были обнаружены в поведении человека, их производит общество. Если общество прекращает свою работу, они исчезают. «В стихийных условиях – свободных от социального регулирования – люди могут действовать, не боясь навредить другим»⁶. Следовательно, наличие эффективного социального регулирования делает такую опасность маловероятной. Суть социального регулирования – и, следовательно, современной цивилизации, непревзойденной по своим масштабам регулирования, – это наложение моральных ограничений на безудержный эгоизм и животную сущность человека. Пропустив факты, касающиеся холокоста, через жернова методологии, рассматривающей его как предмет научной дисциплины, классическая социология может больше сказать о своих собственных предпосылках, нежели об «обстоятельствах дела»: холокост был ошибкой, а не порождением современности.

В другом известном социологическом исследовании холокоста Нехам Тек попробовала изучить другую сторону социального спектра, а именно – спасателей, то есть людей, которые в мире абсолютного эгоизма не позволяли свершаться «грязным делам» и посвящали свою жизнь спасению других. Иначе говоря, людям, которые оставались моральными в совершенно аморальных условиях. В лучших традициях социологической мудрости Тек очень старалась обнаружить социальные детерминанты того, что в то время, по всем критериям, считалось девиантным поведением. Она поочередно проверила все гипотезы, которые любой уважаемый и квалифицированный социолог непременно включил бы в свой исследовательский проект. Она просчитала на компьютере корреляции между готовностью человека помочь и различными факторами классовой, образовательной, конфессиональной и политической ангажированности только для того, чтобы обнаружить отсутствие между ними всякой связи. Вопреки своим собственным ожиданиям – и ожиданиям своих социологически подкованных читателей – Тек вынуждена была сделать вывод, единственно возможный в данной ситуации: «Эти спасатели поступали естественным для себя образом – они были способны добровольно бороться с ужасами своего времени»⁷. Иными словами, спасатели желали спасти, потому что такова была их природа. Они приходили из совершенно разных углов и секторов «социальной структуры»,

а это значит, что такое понятие, как «социальные детерминанты» морального поведения, не более чем блеф. Во всяком случае, роль этих факторов говорит сама за себя: они не в состоянии объяснить неискоренимое желание спасателей помогать другим в их беде. Тек ближе всех других социологов подошла к открытию, что дело не в том, что «мы, социологи, можем сказать о холокосте», а в том, «что холокост может сказать о нас, социологах, и о нашем занятии».

До тех пор пока необходимость задавать этот вопрос выглядит одновременно самой важной и самой постыдно замалчиваемой частью наследия холокоста, стоит задуматься о его следствиях. Сокрушаться по поводу очевидного банкротства сложившихся социологических представлений было бы слишком просто. Поскольку надежда вместить опыт холокоста в теоретические рамки некоего функционального сбоя (современность неспособна подавлять чуждые ей и в высшей степени иррациональные проявления; цивилизация не в состоянии подавить агрессивные инстинкты; социализация проходит неэффективно и не может производить моральную мотивацию в нужном объеме) потерпела сокрушительное фиаско, легко поддаться искушению и попробовать найти «очевидный» выход из теоретического тупика, объявив холокост «парадигмой» современной цивилизации, ее «естественным», «нормальным» (кто знает, возможно, также и *обычным*) продуктом, ее «исторической тенденцией». В такой версии холокост мог бы приобрести статус *истины* современности (нежели просто содержащейся в ней *возможности*) – то есть истины, которую лишь отчасти скрывают за фасадом идеологии те, кому выгодна эта «большая ложь». В своем извращенном варианте такая точка зрения (более подробно мы рассмотрим ее в четвертой главе), превознося историческую и теоретическую значимость холокоста, может только умалить его важность, поскольку ужасы геноцида, по сути, нельзя будет отличить от множества других страданий, порождаемых современным обществом ежедневно и в изобилии.

Холокост как испытание современности

Несколько лет назад журналист *Le Monde* проинтервьюировал группу людей, которых однажды взяли в заложники. Весьма интересным оказался тот факт, что среди пар, переживших этот ужасный опыт, необычайно высок уровень разводов. Заинтригованный, журналист решил узнать о причинах, заставив-